



НАТАЛЬЯ ЛЮТИНОВА

— Спасибо ему. Но все-таки — как вы спасались в советские времена?

— Я вспоминаю, как будто это было вчера, как меня увольняли из главных режиссеров. Правда, я сам подал заявление. В 12.00 я должен был прийти в Министерство культуры, меня ждал первый замминистра Зайцев. Но у Эфроса в этот день был прогон «Ромео и Джульетты», и, конечно, я пошел на прогон. Когда все закончилось, Эфрос меня спрашивает: вы что такой встревоженный? Я говорю: меня уже четыре часа ждут в министерстве. Он говорит: когда меня увольняли из «Ленкома», я пришел домой, лег в плаще на диван и пролежал трое суток. Я говорю: ну тогда я, пожалуй, пойду. Пришел в министерство. Сидят две секретарши, такие мерзкие девки. Одна другой говорит: что мы тут сидим? Когда он явится, этот Вертюк? Я говорю: Вертюк уже пришел. Идите! Открываю дверь, на меня: «Ну?!» «Спасибо», — закрываю и ухожу. Девки бегут за мной: идите, вас просят. Я опять открываю дверь, и меня спрашивают буквально булгаковской фразой: почему вы ничего не просите? Я говорю: у меня все есть, мне ничего не надо, до свидания.

Дня через два, на Пушкинской площади, там был междугородный телефон-автомат, я умел бросить две «пятнашки», одну выбить и полчасика разговаривать — я позвонил в Литву и голосом начальника отдела театра Министерства культуры СССР сказал, что вот есть такой режиссер, талантливый, мы его любим и считаем, что ему надо поработать в Прибалтике, особенно в Литве. Литовский начальник, страшно напу-

ганный, сказал, чтобы я немедленно приезжал. Никогда, вплоть до его смерти, я так и не смог ему признаться, что сам себя устроил... Первый секретарь Вильнюсского обкома меня смертельно обожал и разрешал мне все. Директор театра, естественно, гебист, был уверен, что у меня рука на самом вершине. Я первым в стране ставил Вампилова. Все артисты Някросюса играли в моем первом спектакле — «Мы, джаз и привидение», по польской абсурдисткой пьесе. Он шел не то восемь, не то десять лет. Так что я хороший человек.

Папа римский и Фаина Раневская

— А если вы хороший человек, почему вас в родной Львов не хотели пускать со спектаклем «Давай займемся сексом»?

— Уже все кончилось. Мы там играли. Просто собрались бывшие партработники, которые не могут себе позволить не руководить, и решили, что за ними будет право кого-то пускать во Львов, а кого-то нет. Я им позвонил и спросил: вы читали пьесу? Нет. Вы видели спектакль? Нет. Вам прислать? Не треба. Что ты смеешься, это не смешно... Звоню знакомому актеру, который тоже к ним примкнул. Он оправдывается: то не я, то вон... В общем, губернатор эту компанию разогнал. Тем более что мы к тому моменту уже сыграли «Секс» в Киеве...

Хазанов мне потом сказал: ты гениально это придумал. Он был убежден, что я сам себе сделал рекламу. Сразу и газеты подхватились, и телевидение. А это просто рабы, племб советский, как был, так и остался. Рабство и тупость.

Но я на это не обращаю внимания. Сейчас мы опять туда едем и везем «Нуреева». Меня там любят, я у них национальный герой. Они мне дали звание «Рыцарь XX века» и еще — «Интеллект Украины». Ведь кто из Западной Украины вылетел в мир? Башмет, я и Явлинский. И когда Явлинский говорит, что нам надо здесь организовать свою украинскую группу, я говорю: хоть завтра, пожалуйста.

— Я слышала, что греко-католическая церковь...

— Шо?

— Тоже не хотела пускать вас во Львов. Теперь уже со спектаклем «Мою жену зовут Морис».

— Да нет, просто прибыл иерарх из Ватикана, очень старенький, никогда не был на Украине, и те же люди к нему подъехали и пытались его убедить, что это тот же «Секс». А это был не «Секс». Це группа така была, их уже нема.

— Что из себя представляют греко-католики?

— Украинская церковь и Рим — соединение несоединимого. Но наместник Бога на земле у них Папа. Поэтому когда я с ним встречался...

— С Папой? Вы встречались с Папой?

— Честное слово! Это было совершенно потрясающе. Я тогда ставил в Риме «Рогатку», и меня пригласили на какую-то культурную программу в Ватикан. Когда меня представили Папе, я начал говорить с ним по-польски. А он знает, что я из России. Я говорю: «Я прошу только об одном — у вас есть три пьесы, которые вы написали, когда вам было 21 и 22 года. Я прошу вас разрешить мне поставить одну из них...» Он на меня ТАК посмотрел — с ТАКИМ све-

том... И когда я наклонился, чтобы поцеловать ему руку, он меня обнял, поцеловал и по-польски благословил. Сказал, что он в меня верит.

— То есть разрешил?

— Да.

— Так чего вы ждете?

— Я объясню. Когда только началась перестройка, на Малой Бронной поставили «Мать Иисуса» Володина. На это никто не ходил. Потому что у нас страна атеистов.

— Как была, так и осталась. Вся религия только для проформы.

— А я что, отрицаю? Здесь бессмысленно это ставить. Идеально было бы во Львове.

— А еще лучше в Польше.

— Я удивлен, что поляки, которые знают эти пьесы, никогда их не ставили... Вот есть такие люди, перед которыми ты весь открыт, как ребенок, и не можешь врать. Папа — такой. Он смотрел на меня детскими глазами. Такой взгляд я встречал еще один раз в жизни — у Раневской... Сейчас, я быстренько тебе расскажу...

— Да хоть и не быстренько. С вами ужасно интересно.

— А я знаешь, сколько знаю?

— Да. И восхищаюсь искренне.

— Тише, тише... Я сказал Юрию Александровичу Завадскому, что поставлю что-нибудь с Раневской. Это было уже после того, как она сыграла у Эфроса в «Дальше — тишина». И очень переживала: «Он мне поставил на буфете велосипеда, он хотел меня убить». Я не вру, она отстранилась от Эфроса на полклонах. Он не убрал эти велосипеды, и она всякий раз обходила буфет и была убеждена, что это ее могла. Смешного ничего нет... Я пришел к ней. Она говорит: «Я не могу играть, у меня плохая память». Но я то хитрый. Говорю: а как вы хорошо играли «Деревя умирать стоя» в Театре Пушкина. И она начинает шпарить текст. «А в «Игроке», помните, вы бабушку играли?» И она опять дала монолог, со слезкой, с придыханиями, в этом страшном пальто до пят, в синих тренировочных штанах, толстая собака рядом лежит, Мальчик. Какой-то плавленый сырок мы едим, чай холодный... Потрясающе совершенно. Я в восторге: ну вот и хорошо, или то, или другое. А Фаина, грустная, говорит: «ОНА не разрешит...» Я бегу к Ю.А.: Раневская согласна — или Касона, или «Игрок». Он: хорошо, сейчас я позвоню Вэ Пэ, то есть Марецкой. Набирает номер: вот Роман договорился с Фаиной, она хочет играть. Марецкая сказала: ни-когда. Бегу назад к Раневской, дверь уже открыта, она смотрит на меня такими глазами... «Не говори ничего, я все поняла...»

И был последний раз, когда зашла речь о «Гамлете». Я сказал Завадскому: дайте мне поставить только одну сцену. Гробовщика будет играть Фаина. «Фуфа? Ты гений!..» Спектакля не было. Вообще.

Не начали даже репетировать. Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

Она рассказывала мне, как приехала во Львов году в сорок пятом. Партия их отправляла, чтобы показать бандеровцам настоящее советское искусство. Привезли пьесу Сурова «Рассвет над Москвой». На вокзале их встречают — оркестр, красная трибуна. Это первый путь. А где-то на четвертом пути гонят людей в вагоны, отправляют в Сибирь. Фаина, не задумываясь ни на секунду, пролезла под колесами, увидела пожилую женщину-украинку, вынула из сумки все деньги, которые у нее были. А женщина сказала: «Прошу пана, я не така бидна, як вы думаєте. Я богата душею». Фаина пешком, плача, пошла через город. Шла и редела.

том им надоедает, их все меньше становится. Надо не со свечками стоять, а жить в любви. Я греко-католик. У меня одна сестра греко-католичка, а вторая православная. И они, сволочи, не то, чтобы ссорятся...

— Но у них возникают межконфессиональные конфликты.

— Да. Когда я во МХАТе ставил «Украденное счастье» Ивана Франко, я понял, что мне нужна греко-католическая служба. А ее нигде нет. Эта церковь ведь была под запретом, считалась бандеровской. Я дружил с женой канадского посла, ее родители были выходцами из Львова. Посол привез мне запись. И во время всего спектакля шла греко-католическая служба. Принимал художественный совет — Степанова, Попов, Евстигнев. Это был спектакль к 60-летию образования СССР. Ефремов мне позвонил и сказал: не знаю, что надо

«Я не люблю имитацию. Когда приезжают, со свечками стоят. Потом им надоедает, их все меньше становится. Надо не со свечками стоять, а жить в любви»

ставить к этому 60-летию. Я говорю: «Украденное счастье» Франко. Он говорит: это тот испанец? И я понял, что попал впросак...

Значит, идет худсовет. Степанова говорит: все хорошо, но вот если бы в финале все персонажи вышли на сцену и спели «Реве та стогне Дніпр широкий». Я говорю: «Видите ли, в Карпаты очень поздно пришла советская власть. Если бы вы на танках нас раньше освободили... Это ведь Шевченко, светская поэзия, а они и читать-то не умели. Темные были люди. Они уж так благодарны, так благодарны, что пятко-ничная звезда засияла над Карпатами...» Она притихла. И там же был замминистра культуры СССР, сам украинец. Он меня спрашивает: Роман, а шо це за хор співає? У меня все похолодело. Я говорю: Чернивецький. Он: яки прекрасні голоси у нас на Україні... Потом мы записали этот спектакль на радио, и три раза на всю страну шла греко-католическая служба.

— Все-таки вы хулиган, провокатор и идеологический диверсант.

— А когда я ставил Гольдони в Ленинграде, в колыхали революцию? И чтобы немного эту колыхаль раскатать, у меня выходил Лева Лемке и 15 минут читал «Голос из хора» Синявского, а перед вторым актом — Нобелевскую речь Солженицына. Я все это выдавал за дневники Гольдони. Когда приехал Синявский, я ему про это рассказал, и он заплакал. Лева Лемке умер уже, а я так и не мог ему открыть, что он читает. Так же, как Жора Бурков не знал, какая музыка звучит в «Украденном счастье», но ему очень нравилось.

— А вас самого удавалось мистифицировать?

— Когда мы ставили в вахтанговском «Федру», туда приходила Анастасия Цветаева. Ее праправнуки играли детей в «Анне Карениной». И я у нее спросил очень осторожно, намеком, что вот мне кажется, что Марина Ивановна жила со своим сыном. И про артистку спросил, и про поэтессу... Тогда ведь все это было покрыто мраком. Она сказала: «Только после моей смерти ты все узнаешь». Я узнал раньше, мне Завадский рассказал. Но до этого я сам обо всем догадался. Я прихожу к тайне своим путем, по наитию.

Украденный Интернет

— По-моему, всех любить — вредно для профессии. В прошлом сезоне вы поставили «Кармен» с Ириной Апекушиной, для ее антрепризы. Резуль-

тат нулевой. В этом году — «Искатели жемчуга» в «Новой опере», с молодой Марией Максаквой, которую вы, вероятно, когда-то качали на коленях. Все говорят — провал.

— Нет, Маша пела хорошо. Я не согласен. С Ирой другая ситуация. Она решила, что должна стоять во главе угла. Это недопустимо. Впредь ничего у нас с ней быть не может, боже упаси. Она не видит себя, не понимает, что в ней хорошо, что плохо, и только подчеркивает свои недостатки. Думаю, скоро она начнет ставить сама.

Такого у меня в жизни не было. Ни одна из великих актрис себе такого не позволяла.

— Поколения меняются, актеры зарываются. Кстати, чью сторону вы приняли в конфликте «Киркоров — Ария»?

— Ничью.

— Согласна, оба хороши. И еще меня страшно огорчил диалог Николая Петрова с Бари Алибасовым в программе «К барьеру!». Уровень у обоих был нижайший...

— Абсолютно. Уровень — ниже массовой культуры. Самая вредная передача, какую я вообще видел по телевидению. Вот когда я ходил к Швыдкому и обсуждал Интернет, искусство это или не искусство...

— Вы ведь, прямо скажем, не большой компьютерщик. Вам не кажется, что ваши рассуждения об Интернете — из серии «Пастернака не читал, но протестую»?

— Да я ведь ничего не имею против. В Интернет сбрасывается всемирное знание. Это музей, библиотека, что угодно, но не искусство. Про что я и кричал у Швыдкого. Кстати, мне потом прислали два, и один на телевидении свистнули...

— Один — что?

— Один Интернет.

— В смысле?

— Ну один этот самый, ящик...

— Компьютер.

— Да. Пропал бесследно. Потом

кто-то позвонил в театр: можно Романа Григорьевича? Я говорю: его нет, что вы хотите? Это фирма такая-то, наш шеф потрясен выступлением товарища Виктюка, у нас для него компьютер. Я говорю: это я, я! Только привозите в театр!

— А почему вы сами себе не купили?

— Так смотри, он у меня столько времени стоит, а я до сих пор к нему не притронулся. Когда-нибудь настанет время, я за него сяду. А пока мне Фима Шифрин показывает, что там пишут.

— По-моему, вы однажды по телевидению защищали желтую прессу от Пугачевой.

— Я не защищаю хамство, но век наш плебейский, и с этим надо смириться. Есть журналисты, которые хотят опустить все остальное до своего уровня.

— Кое-что мы поднимаем до своего уровня, правда, спасибо нам редко говорят. Лично вы на прессу не обижаетесь?

— Никогда. Написала ты хорошо — хорошо. Написала плохо — прочту внимательно, подумаю, в чем права, в чем не права.

— Как же нам научиться мирно сосуществовать? Цивилизованно?

— Я предлагаю категорически — уважение и сердечный трепет. Ведь помимо тех букв, которые вы пишете, у вас свой пласт боли. И у нас с тобой есть общие болевые точки, иначе бы мы так долго не разговаривали.